

© 1994 г. В.Б. КРЫСЬКО

ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ

(II. Varia)*

1. К числу особенностей древнепсковского говора исследователи, начиная с Л.Л. Васильева [1], справедливо относят переход **dl, *tl > [gl], [kl]* (см. [2, с. 184–187; 3]; впрочем, уже А.А. Шахматов показал, что данный феномен был не чужд и собственно новгородским памятникам, а тем самым – и новгородскому говору [4, с. 5–6]. Буквально сразу же после обнаружения этого явления оно было поставлено в связь с сохранением взрывных перед [l] в западнославянских языках и послужило важным аргументом в пользу западнославянского генезиса кривичей [5, с. 46–47] либо, по крайней мере, субстратного "ляшского" (на Днепре!) происхождения "ряда резких звуковых черт" древнекривичского диалекта [4, с. 9–10]. В русле этой традиции рассматривает указанное изменение и А.А. Зализняк [6, с. 199]¹. Однако, на наш взгляд, сохранение групп *tl, dl* у западных славян и их своеобразная эволюция на северо-западе восточнославянской территории с неменьшим основанием могут быть интерпретированы и как результаты независимых процессов – точнее, отсутствия каких бы то ни было процессов на западе и собственного, особого развития на востоке (ср. [8])². Общим для обоих ареалов является, безусловно, сам факт сохранения взрывного – однако такой же феномен наблюдается и в словенских говорах (*jedla, modliti, kridlo* [9]), что могло бы свидетельствовать о более широкой распространенности праславянского архаизма в исторически зафиксированных диалектах. В то же время на типологически не изолированный характер изменения **dl, *tl > [gl], [kl]*, инициированного, по мнению В.В. Колесова, лабиовелярной плавного [10], указывают факты польского языка (зафиксированные в письменности XV–XVI вв. и в говорах), которые в ряде случаев несомненно восходят к периоду после падения редуцированных и, следовательно, не могут ассоциироваться ни с лехитско-кривичскими контактами, ни с субстратным балтийским влиянием: *z mgly, zemglat, mglec* (ср. *млеть*), *wąklity* (< *wątlity* от *wątlý* < **pŕŕlŕ* "утлый"), *moglitwa, wiklina* (= *witlina*) и др. [2, с. 186–187], а также кашубско-словинские формы типа *żagło < żadło* [5, с. 47; 4, с. 9] и довольно многочисленные новообразования среднесловацких говоров, относящиеся ко времени не ранее середины XII в.: *meglit* <

*Первую часть статьи — "Палатализация" — см. в № 5 за 1994 г.

¹Далее ссылки на страницы этого издания приводятся в тексте в круглых скобках. Сокращенные обозначения древнерусских источников соответствуют изданию [7]. Дополнительно вводятся следующие сокращения: АЕ-67 – *Корецкий В.И.* Вновь открытые новгородские и псковские грамоты XIV–XV вв. // Археогр. ежегодник за 1967 год. М., 1969; ЛА – Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки // ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889; НЛ – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950; ННЛ – Новгородские летописи (так называемые Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879; НВЛ – Новгородская пятая летопись // ПСРЛ. Т. 4. Ч. 2. Пг., 1917; ПГ – *Марасинова Л.М.* Новые псковские грамоты XIV–XV веков. М., 1966; УСб – Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. Кроме того, в статье используются сокращенные обозначения падежей: ИП – именительный, РП – родительный, ДП – дательный, ВП – винительный, Зв. – звательная форма.

²Отметим, кстати, четыре дополнительных употребления формы *мочигло* в АЕ-67, № 9 (более исправный список с той же грамоты, которая послужила оригиналом и для ПГ № 12, разбираемой А.А. Зализняком на с. 198–199).

**tydylyti*, *kík* < *tík*, *glho* < *dígo*, *skíp* < *stíp*, *klmačit'* < *tlmačit'* [11]. Все эти факты позволяют заключить, что изменение зубных перед [i] в заднеязычные представляет собой своего рода фреквенталию, проявляющуюся в разные периоды языковой истории в географически не связанных точках славянского мира.

2. Не вполне убедительна попытка А.А. Зализняка опровергнуть, по-видимому, разделявшийся им еще в 1986 г. [12, с. 125] тезис об общевосточнославянском характере первоначальной рефлексации **tort*. Вывод о том, что развитие подобных сочетаний "протекало в разных частях восточнославянской зоны по-разному" (с. 202), уже давно не подвергается сомнению: украинские формы типа *ворон* (а не *ворин*) определенно расцениваются как доказательства того положения, что вначале **tort* перешло не непосредственно в **torot*, а в **torât* (ср. 13, с. 170). Но именно этот **torât* и следует считать общим рефлексом **tort* не только для всех восточных славян, но и для лехитов и лужичан, а также, может быть, и для части южных славян (ср. *золѣта* в Синайской псалтыри [14, с. 60]) [15, с. 117–120; 13, с. 169–172], между тем как различные диалектные модификации исконной общей формы, сохраняющие древнее полногласие, отражают лишь разную судьбу вставного гласного. Впрочем, диалектный пример *балэня*, *балыня* < **bolnje* (с. 201) кажется слишком непрочной опорой для обобщающего вывода об "относительно позднем" отождествлении [э] в древнем новгородском ареале с предшествующими [о] и [е]; более показательна в данном аспекте форма *скорыню* из "Жития Андрея Юродивого" по списку XIII в. vs. ст.-слав. *скранниа*, др.-русс. *скороньямъ*, *скоронь* [16, с. 102]. Уместно вспомнить здесь и форму *полямиа* < **polĭme* < **polme*, которая в силу своего общерусского распространения должна, вероятно, расцениваться как лексикализованный реликт общевосточнославянской рефлексации **tort* в виде **torĕt* (см. [17]).

Еще одной специфической особенностью севернокривичской фонетики являлось, по мнению А.А. Зализняка, второе полногласие (т.е. наличие редуцированных "с обеих сторон" плавного – *гъгъ* – в соответствии с праславянским **tŕrt*); "ильменско-словенским говорам (не смешанным), равно как и всей Юго-Западной Руси, данная инновация была практически чужда" (с. 201). С этим утверждением, которое имеет давнюю традицию в отечественной лингвистике [18, с. 90–103], не согласуются, однако, показания древнейших памятников не только северно-, но и южнорусского происхождения, демонстрирующих написание типа *пѣльны*, *мърѣтву*, *отверѣгуса*, *растерѣгнуть*, *умеретвѣя*, *молонья* [19, с. 26–27; 16, с. 31–35], а также факты современных русских, украинских и белорусских говоров, генетически не связанных с кривичскими [19, с. 28; 16, с. 19–27; 20; 21, с. 195–196³]. По-видимому, тенденция к раскрытию слога путем развития после него гласного призвукa имела общевосточнославянско-лехитско-лужицкое распространение [15, с. 117–118]; во всяком случае, трудно не согласиться с А.А. Шахматовым, который заявлял: "... мы решительно не видим возможности признавать второе полногласие диалектическим явлением севернорусского наречия: немало примеров представляют среднерусские и малорусские говоры" [16, с. 30–31]. Преимущественно севернорусскую локализацию получили в основном лишь позднейшие морфонологические изменения, связанные с обобщением облика основы по вокализованным рефлексам первого (исконного) либо второго редуцированного, и прежде всего явление, которое обычно определяется как завершающая стадия второго полногласия (*верех*, *кором* и т.п.). Мы полагаем, однако, что подобные образования возникли не фонетическим, а морфологическим путем – в результате контаминации форм с закономерной, но различающейся в зависимости от позиции рефлексацией редуцированных: *верха* + *врех* > *верех* (ср. [22; 23, с. 129]), – и

³Ср., в частности, вывод Г.П. Пивторакa о том, что "... в древности формы со вторым полногласием занимали сплошной диалектный арсал... в пределах современного юго-западного наречия украинского языка" [21, с. 195].

благодаря своему чисто внешнему сходству с рефлексам первого полногласия имеют больше оснований называться третьим полногласием, нежели экзотические сочетания (отчасти, вероятно, тюркизмы), рассмотренные под этой рубрикой А.А. Шахматовым [16, с. 87–116]. В этой связи заметим, что нельзя считать абсолютно бесспорным хрестоматийное положение, согласно которому в сочетаниях со вторым полногласием (*тъгъѣ*) редуцированный перед плавным "во всех случаях сохранял свойства сильного редуцированного" (с. 201, см. также [23, с. 115]). Представленные в памятниках формы с гласным полного образования на месте второго, неисконного редуцированного (*стълопника* Стихирарь XII в., БАН, 34.7.6, 67об [24, с. 33], *Търождоу*, *Търождку* ЛН XIII–XIV [6 примеров], *одъренъ* 81 об, 114об, *църенци* 118 [18, с. 98–99; 16, с. 34], *чъренцемъ* ПрЛ XIII, 14 [19, с. 27], а также, возможно, *дълж[ь]ницу* и *дължениць* ГрБ № 449; ср., кроме того, название новгородской речки *Вревка* < *Връвѣка* [23, с. 129]⁴) показывают, что вначале распределение сильных и слабых позиций соответствовало общему правилу и не зависело от исконного либо "неорганического" происхождения редуцированного: второй (вставной) редуцированный, находясь перед слогом с утраченным слабым редуцированным, закономерно вокализовался, тогда как первый (исконный) столь же закономерно утрачивался или по крайней мере сохранял качество редуцированного. Вероятно, только позднее, на фонологическом этапе изменения, закономерная рефлексация под действием аналогии нарушилась, уступив место внутриморфемному или парадигматическому выравниванию (*стлопник* > *столиник* под влиянием *столл*, *чренци* > *чернци* под влиянием *чернец*, но *ослоп* < *остълълъ* [24, с. 32–33] вследствие ослабления семантической связи со словом *столл*).

На фоне в целом неуклонного следования древненовгородских памятников общевосточнославянским закономерностям в реализации первого и второго полногласия некоторые факты действительно дают основание предположить, что в части новгородских говоров развитие сочетаний *torŭ* и *тъгъѣ* отличалось от общерусского пути. Наиболее информативна в данном отношении берестяная грамота № 336 (первая треть XII в.), в которой зафиксированы следующие странные написания: *срочькъ*, *срочька* (дважды), *Вльчькови*, *дльжьнъ*. Чисто орфографическое толкование этих форм как продиктованных "ориентацией на книжные нормы" [12, с. 203], на "старославянский образец" (с. 266) для бытового письма представляется крайне сомнительным. Обращает на себя внимание тот факт, что явно некнижное слово *срочькъ*, не имеющее никаких параллелей в церковнославянском, неоднократно пишется в ранних берестяных грамотах отменно от обычного полногласного облика: *сърочьке* ГрБ № 681, *сърочька* 649, *сърочьке*, *сърочькъ* 650. Думается, что эта регулярная "неправильность" не случайна и отражает определенное фонстическое изменение. Как известно, на западнославянской (польской и лужицкой) территории сочетания с первым полногласием в его первоначальном виде (*torŭt*) претерпели особую эволюцию, заключающуюся в том, что гласный призвук, развившийся после плавного, постепенно усилился за счет исконного гласного, сначала функционально отождествив его со слабым редуцированным (*tŏrot*, ср. ст.-польск. *ve vrota* < *v ǫ vrota*), а затем и полностью вытеснив [15, с. 117; 13, с. 171]. Можно полагать, что именно на стадии, на которой исконный гласный редуцировался при усилении вторичного гласного, и представлена в новгородских написаниях типа *сърочьке* (а также *вълости* в ГрБ № 503, четко различающей *ъ* и *о*, и *Вълось* во вкладной Варлаама 1192 г. [25]), между тем как формы *срочькъ*, *срочька* (а также, видимо, *погро[д]ъе*) в ГрБ № 718, 1229 г.) передают либо полное исчезновение первого гласного, либо, что вероятнее, ослабление его до степени фонологически нерелевантного, а потому и не обозначаемого на письме звука.

Четкую параллель написаниям типа *срочькъ*, отражающим дефонологизацию

⁴В СбПаис XIV–XV, 21а, вопреки данным В.В. Колесова [23, с. 129], представлено написание *чремное*, а не *ч'ремное*.

изначально предшествовавшего плавному гласного полного образования, составляют, по нашему мнению, формы типа *Вльчъкови*, *дльжьнь* и обнаруженные во вновь найденных берестяных грамотах второй половины XII в. написания *во хлостѣхъ* ГрБ № 722, *во брозѣ*, *мловила* 731 (где *о* = ъ). По всей вероятности, эти примеры демонстрируют весьма раннюю метатезу исконного [ъ] > [э] > [Ø] и вторичного [э] > [ъ] (**mъlvila* > **mъl̥vila* > **m̥l̥vila* > *m̥lvila*, ср. **vorta* > **vor̥ta* > **v̥or̥ta* > *vrota*). Тем самым можно заключить, что этимологические сочетания типа *tъrt* совпадали в некоторых новгородских говорах с формами типа *tr̥rt* (*др̥ва*)⁵ и претерпевали в дальнейшем такую же эволюцию: в сильной позиции редуцированный вокализовался, тогда как в слабой утрачивался, в результате чего плавный приобретал слоговость, а затем после него развивался неорганический гласный (*tr̥ta* > *tr̥a* > *tria* > *trota*). Ранним отражением данных изменений являются зафиксированные нами в Захаринском паремейнике 1271 г. (РНБ, Q п I, 13) формы: *пом̥рекнетъ* с̥нце 88а < < *пом(э)ркнетъ*, *сред̥цемь* 103б < *срьд̥цьмь*, *о(т)врезаются* 231 г < *от̥верзуться*; аналогичная рефлексия представлена, вероятно, в форме *попл̥нка* (фонетически *по{пл}нка*) в ГВНП № 186 (середина XV в.) и в цитируемых А.А. Зализняком [26] примерах из новгородского списка "Жития Андрея Юродивого" XVI в., исследованного М.Н. Швецевой: *на трогу*, *троговое*, *проты*, *млония*, *влочець*, *вресту*, *мрезькая*, *помрекнет* и др., а также в диалектных формах, собранных А.А. Зализняком: *осречать*, *мрода*, *клоч* и др.

Таким образом, рассмотренная нами диалектная модель изменения *tort* > *trot* и *tъrt* > *tr̥rt*, при всем своем сходстве (в первой группе) с западнославянским развитием, предстает как более последовательный процесс, присущий только ограниченному ареалу даже в пределах древненовгородской территории, хотя, возможно, и получивший начальный импульс еще в ту эпоху, когда возникла общая для западных и восточных славян тенденция к полногласию в группах **tort* и **tъrt*. Во всяком случае, как *trot*, так и *tr̥rt* вполне удовлетворительно выводятся из первого и второго полногласия, а следовательно, могут быть интерпретированы как диалектные изменения общевосточнославянских рефлексов.

3. Представляется необходимым возразить против несколько односторонней, на наш взгляд, оценки фонетического статуса (ѣ) в северо-западных говорах: по словам А.А. Зализняка, реализация данной фонемы в виде открытого гласного сближает древнекривичский диалект "прежде всего с польским" (с. 204). Неясно, однако, почему при этом не упоминается об аналогичном качестве (ѣ) в старославянском и болгарском [13, с. 129]. Не указано и то, на чем основывается постулирование подобной реализации (ѣ) для кривичского в отличие от ильменско-словенского; вероятно, преобладающую роль играли в данном случае прибалтийско-финские заимствования типа *mādrā* < *mъра* – но едва ли можно с уверенностью утверждать, что, во-первых, источником указанных заимствований служили только кривичские говоры и что, во-вторых, сохранение исконного качества (ѣ) в виде звука [ā] не было изначально свойственно в с е м восточнославянским диалектам. Новейшие сравнительно-типологические разыскания позволяют предполагать, что в тех "славянских языковых областях", где рефлекс *ѣ "восходит к гласному средневерхнего подъема, этот звук исконным не являлся" [27, с. 39]. Чрезвычайно знаменателен тот факт, что реликтовые "формы с корневым ударным {ā}, соответствующим этимологическому *ѣ", наблюдаются в современных говорах, по происхождению не соотносимых с кривичскими, ср.: *цѣлой*, *цѣп*, *здѣлал* (арх.), *медвѣдь* (влад.), [л'еās] (влад.), *цѣп* (тульск., орл.) и др. [27, с. 39–40].

4. Переходя к морфологическим явлениям, мы должны в первую очередь констатировать, что основная морфологическая особенность древненовгородского диалекта – ИП ед.ч. мужского рода **о*-склонения с флексией -е, возводившийся, согласно неко-

⁵Ср. обратное изменение в этимологических формах типа *tr̥rt*: *бързды* Изборник 1073 г., 98, *бърздами* СбГр XII/XIII, 200об, *бързды* ГБ XIV. 151г, *гъртань*, *дърва*, *стърмление* [24, с. 30–31].

торым смелым гипотезам прошедшего десятилетия, едва ли не к праиндоевропейской эпохе, – в настоящее время, благодаря выявлению прямых рефлексов праславянского окончания Nom. sg. masc. **-o < *-os* (гипокористики на *-ъко*, *-хъно*, топонимы типа *Псково*, *Полоцко*) и обнаружению закономерных *-е*-форм мягкого варианта склонения, восходящих к **-jo < *-jos*, получает, по-видимому, достаточно удовлетворительное истолкование как результат присущего древненовгородскому диалекту влияния мягкой разновидности на твердую (*батьке < *batъko* под влиянием *коне*) [28; 29]. В дополнение к материалам, опубликованным в [28; 29], нами обнаружен еще ряд примеров, свидетельствующих в пользу наличия флексии *-е* в **jo*-основах. Так, в новгородском Стих 1156–1163 фигурирует форма *въньць* (въньць твой оуготовися 101), вероятно, отражающая обозначение конечного *-е* посредством *ъ*. В ГрБ № 150 (XII/XIII вв.), которая демонстрирует этимологически правильную графическую передачу [е] и [ь] (*не останеть*), обращает на себя внимание ИП *моуже*: а не останеть ти ся ни *моуже*. Это написание, поддерживаемое аналогичными формами в "Русской Правде" (*кръвавъ моуже*) и в "Летописи Авраамки" (*Аще муже от жены блядеть*) [28, с. 139–140], получает подтверждение также в новгородском списке "Закона судного людем" второй половины XIV в.: *Аще даъ женъ бѣситася блуда ради... творяще муже едина а другой женою* ЗС XIV, 34 (ср. сходную синтаксическую конструкцию с предикативным номинативом в УСб, 56а: *пламень... акы комара сътворивъ ся*). Заслуживает упоминания следующий антропоним: *иде(т) на мя... Гюрге съ Олговичи* ЛЛ 1377, 327 (ср. [30]); эту форму, видимо, следует отграничивать как от общерусской формы на *-и* (*Гюрги*), так и от славянизированных образований на *-ие* типа *Юрие*. В Ипатьевском списке летописи, содержащем многочисленные новгородизмы⁶ и написанном, скорее всего, псковским книжником (см. [31, с. 114, 117–119]), в ряду *-е*-форм ИП твердого **o*-склонения [29, с. 85] отмечена и форма мягкого варианта: *Туки Чюдине бра(т) ЛИ* ок. 1425, 63об, – являющаяся притяжательным прилагательным с суф. **-j-*, ср.: *Тюки. Чюдинъ бра(т) 74об* (в других списках – *Чюдиновъ*); существенно, что замена конечного *ъ* на *е* встречается в этой рукописи только в книжных формах причастий от глаголов IV класса: *въступле 72об, оукръиле 158*; впрочем, дважды на конце словоформы наблюдается *о* вместо *ъ*: *онѣмо 247об, согръшихо 264об*. Интерпретация написания *Василе* в ЛА, 142 как номинатива на *-е* [28, с. 139] подкрепляется теперь новым чтением берестяной грамоты № 496 (1-я пол. XV в.), в которой, как сообщил нам А.А. Зализняк, фигурирует *Ва[си]лѣ Вѣцѣркѣ* – форма, несомненно оканчивающаяся на *-е*, так как писец регулярно обозначал флексийную *-е* посредством *-ѣ* (*Игнаткѣ Симувѣ* и др.). Весьма надежным примером флексии *-е* в **jo*-склонении представляется отчество *Коровъ Яковицѣ* НВЛ, 177 (начало XVI в.), которому в Новгородской первой летописи по Академическому списку соответствует *Коровъ Яковичѣ*, а по Комиссионному списку – *Коровъ Якович* (НЛ, 235). Новые употребления окончания *-е* зафиксированы в твердом **o*-склонении: *лишене буди* ПрЮр XIV, 49г (ср. ПрЛ XIII, 40а [29, с. 83]); *презвитерѣ ли дьяконѣ* ПНЧ XIV, 188г (*преосвѣтерос*); *яко же бо лишенѣ сы свѣта его неправо ходитѣ* Пр 1383, 120в; *азъ есмь хлѣбе* (Типографское евангелие № 18, вторая пол. XIV в. [2, с. 147]). Интересны два примера с личными именами из НЛ по списку рубежа XVI–XVII вв.: *преставися Домонтѣ 24*; князь Резаньский *Олгѣ Ивановичѣ 35*. Отметим также дополнительные факты, свидетельствующие об использовании флексии *-я (< -е)* безотносительно к

⁶Ср.: РП ед.ч. мало *дружинѣ 22об, рѣкъ 81*; И–ВП мн.ч. и перфекты *мудрѣ 5, приярѣ 6, дворѣ 23об, дикѣ 118*; 3-е л. наст. вр. *пойду 12об, впаде 25об*; формы типа *залознику 193, зазгоша 84, дожгыци 104, Мьстислаа 107, Волхово 61* и др.; особо отметим форму *изъидете 257об*, которая дополняет краткий список примеров, отражающих [е] на месте прежнего [ъ] в середине слова (с. 170, 205).

роду в сомринском (или сомерском) говоре в конце XIX в.: Ведро в каладце абараті́лся вверх нагѡм; Яна в том забарáлся, а пад кацальником загарéлся; Мальчишка заплѡкаля; ён абараті́лся; Мнáга, тетушка, сгарéля; навѣй луп сгарéля; барадѡ загарéлся; Берестянь навѣй сгорéля; ё взéля, да палáм-та и прикрýля; вараті́лся дамáй (по-видимому, в речи женщины); який аблаэд навязѡ́лся на маю шаю; ён ушлé; Давно ли ты, Тимошка, с Питера наради́лся? [32].

Мы уже имели случай [28, с. 150–151] высказать свою точку зрения на загадочное прозвище *Матвѣи Кенище* из ГрБ № 417: на наш взгляд, *Кенище* – это гипокористика с суф. -ишк(е) от не сохранившегося в других источниках имени **Кѣнимиръ* или под. (ср. болг. новообразование [?] *Ценимир* [33]). Такое сосуществование христианского имени и славянского прозвища на -ко (новгородское -ке) – явление в грамотах нередкое, ср.: *Семен Рубелке* ПГ № 25; *Данило* Онуфреевъ сынъ, прозвище *Томилко*, *Иванъ* Федоровъ с. Кривой, прозвище *Сусѣдко*, *Лукоянко* Лукояновъ, прозвище *Поспѣлко* [34]. Симптоматично, что флексия -е сохранена в рассматриваемом документе, ориентированном на общерусские морфологические нормы, только в языческом прозвище, тогда как все прочие антропонимы *о-склонения имеют окончание -ъ (*Фларевъ*, *Давыдъ Поповъ*, *Онишковъ*, *Софронъ М(?)шкінъ*). Слабую сторону предложенной интерпретации составляет допущение замены ѣ, который исконно присутствовал в корне **кѣн-* (не подвергнувшись, как и следовало ожидать, второй палатализации), буквой е. Именно "необъяснимость прозвища *Кенище*... в грамоте, где ѣ практически не смешивается с е" (с. 164), побудила А.А. Зализняка отказаться от принимавшегося до сих пор словораздела и согласиться с мнением польского автора [35], согласно которому имя Матвея фигурирует в ГрБ № 417 в гипокористической форме с новгородской флексией – *Матвѣике*, а отрезок *нище* является адъективным прозвищем (*Нищъ*). Это предположение можно было бы считать вполне приемлемым, ввиду того что параллельное использование строго индивидуализированных имен на -е (*Матвѣике*) и -ѡ < -ъ (*Давыдъ*, *Софронъ*) совершенно обычно для новгородских частных грамот, ср.: *Уласке Тупичинъ* ГВНП № 92; *Мартемьяне Родивоноуъ* 90; *Лукианъ Ермолинъ*, *Максимъ*, сынъ его *Кондратке* 207 и т.д. Сложность заключается в прозвище – *Нищъ*, так как адъективные прозвища – т.е. прилагательные семантически определенные – никогда, насколько нам известно, не употребляются в именной форме, ср.: *Федоре Кроткеи* ПГ № 29; *Савка Грѣиной*, *Максимко Лысой*, *Ивашко Слѣпой* и др. [34, с. 71, 290, 418]. Для того чтобы ввести анализируемое прозвище в общий ряд, приходится допустить, что в нем не дописано конечное и, – однако такой выход из положения трудно признать особенно удачным.

Возвращаясь к высказанной выше трактовке, отметим, что тезис об отсутствии смешения ѣ и е в ГрБ № 417 не вполне основателен. Правда, все этимологические ѣ пишутся правильно (*приѣхавъ*, *носилъ* bis, *Петровъ*, *Матвѣи*), если только патроним *Слепеткову* не связан с корнем *слѣп-*. Верно написаны и этимологические е: *серебро*, *племенъмъ*, *Петровъ*, *серебромъ*, *Фларевъ*. Но в то же время грамота отражает явно избыточное использование ѣ, который появляется не только на месте сильных [ѣ] (*Климѣць*) и [и] (*Григорѣи*), где его возникновение можно было бы объяснить фонетическими причинами, но и на месте слабого [и] (*Заволоцѣи*) и даже [ѣ] (*на завѣтрѣ*, *братѣю*), а также в функции ѣ как показателя мягкости предшествующего [в'], образовавшегося на месте исконного [у] > [w] > [v] в результате межслоговой ассимиляции [втр'] > [в'тр'] (*на завѣтрѣ*). Знаменательно, что все этимологически неверные написания представлены в формах, претерпевших фонетические изменения, между тем как "правильные" е и ѣ отмечены в словах, не испытывавших никаких существенных перемен в своем звуковом облике и, следовательно, не составлявших трудности для писца, хорошо знакомого со "стандартными" орфографическими нормами (ср. замену оставшегося не зачеркнутым предлога *з* написанной над строкой

формой *сь*). Однако имя *Кѣнишке*, очевидно, находилось за пределами действия этих норм, поскольку его внутренняя форма вряд ли ясно соотносилась со словом *цѣна*. Таким образом, написание *Кенище* (*Кенишке*) вполне укладывается в орфографическую систему писца грамоты № 417.

5. В связи с затронутой проблематикой необходимо, на наш взгляд, более четко определиться в отношении морфологической характеристики гипокористик на *-о*. Думается, что указание: "...оформлены как *neutra*" (с. 212) – не совсем точно отражает их статус. На самом деле эти существительные имеют в номинативе окончание, *о м о - н и м и ч н о е* флексии ср. рода, но исторически ей не тождественное: если в именах муж. рода *-о* возникло из **-ох*, то в ср. роде – из **-би* или **-od*. Кроме того, и в парадигме склонения упомянутые гипокористики отнюдь не полностью совпадают с *neutra*: они характеризуются особыми, присущими только муж. роду формами: В=Р типа (*вижу*) *батѣка*, *Вячька*, Зв. типа *батѣке*, ИП мн.ч. типа *батѣки/батѣци* (но не **батѣка*).

6. В новом исследовании А.А. Зализняка намечено противопоставление древнекривичского диалекта ильменско-словенским (и другим северо-восточным, см. [12, с. 135]) говорам по признаку распространения флексии *-ови* в ДП ед.ч. муж. рода (с. 212). Однако, во-первых, едва ли можно говорить о преобладании *-ови* над *-у* в грамотах XI – начала XII в.: в текстах этого времени, опубликованных к 1993 г., зафиксировано десять примеров с *-ови*⁷ против восьми с *-у* (включая *Василеви* из старорусской грамоты № 15 и *Завиду* из ГрБ № 644), а последующие раскопки добавили еще четыре формы на *-у* (в ГрБ № 736 и 745) и лишь одну – на *-ови* (745). Во-вторых, если даже *-ови* и преобладало когда-нибудь в древненовгородском диалекте, к середине XII в. это господство явно сошло на нет (см. [12, с. 134]; в последнем выпуске берестяных грамот 13 форм на *-у* из текстов второй половины XII – рубежа XII/XIII вв. противостоит лишь одна на *-ови*). Но столь раннее отмирание инновационной флексии даже в том ареале, который признается основной, наряду с Юго-Западной Русью, областью ее распространения, заставляет весьма скептически отнестись к попыткам отрицать ее наличие в ростово-суздальских и ильменско-словенских говорах: отсутствие соответствующего материала в московских грамотах XIV в. [12, с. 135] так же мало говорит о состоянии XI–XII вв., как и данные новгородских пергаменных грамот. Наконец, длительное (вплоть до XV в.) сохранение *-ови* в деловой и бытовой письменности Пскова вряд ли может расцениваться как указание на источник инновации: не исключена и иная трактовка – пережиточное употребление исконно общевосточнославянского (и, видимо, праславянского, если учесть многочисленные примеры с *-ови* в старославянском и укорененность *-owil-ovi* у западных славян) варианта на периферии великорусской территории в условиях исчезновения ее во всех прочих русских диалектах.

7. Едва ли следует считать "труднейшей морфологической проблемой" наличие окончания *-у* в РП ед.ч. имени *Смолигъ* (ГрБ № 603, ПГ № 2) и решать эту проблему в том смысле, что "... *Смолигъ* – слово *и*-склонения" (с. 177): развивая подобные рассуждения, пришлось бы заключить, что имена *Пароухъ*, *Борисъ*, *Федосъ* тоже принадлежали к **и*-основам, коль скоро МП у них оканчивался на *-у* (*при попѣ... Пароуху* Ап 1309–1312, 128; *при князи. Псковьскомъ. при Борису* Паракл 1369, 136об–137; *при попе Федосу* Пр 1383, 98об [36, с. 122, 124, 127]). Более правдоподобна иная интерпретация: длительное сохранение деклинационной автономности **и*-masculina в древненовгородском диалекте (см. [37; 38, с. 77–78]) обусловило дальнейшую, по сравнению с праславянским периодом, экспансию флексий данного склонения на **о*-основы, и если в старославянских и большинстве древнерусских памятников РП и МП

⁷В том числе два примера, обнаруженные в предположительно неновгородских грамотах № 246 ("вероятно, смоленско-полоцкой" – с. 213) и № 109.

на -у получили распространение только среди неодушевленных имен с исконно односложной основой, то в новгородских (и особенно псковских) говорах этот процесс, имевший своим следствием формирование на месте прежнего *о-склонения смешанной *о/*и-основной парадигмы, затронул и многосложные имена собственные.

8. В предыдущей статье мы уже касались вопроса о происхождении инновационных форм И-ВП мн.ч. *а-склонения типа *кунѣ* (вм. *куны*). Осторожность А.А. Зализняка в решении данной проблемы (с. 218) кажется излишней: на фоне таких новообразований в твердых вариантах склонения и спряжения, как у *вѣдкѣ* (РП ед.ч.), *городѣ* (ВП мн.ч.), *въ тихѣ* (МП мн.ч.), *идите* (2-е л. мн.ч. повел. накл.) и т.д. эти формы предстают как еще одна реализация тенденции к замене "твердых" окончаний "мягкими".

9. Три примера "весьма неожиданного окончания -аму" (с. 224), отмеченные А.А. Зализняком в ДП ед.ч. муж. рода адъективного склонения, могут быть дополнены еще одним употреблением из Ефремовской кормчей (переписанной, как известно, в Новгороде): *послѣднѣмоу* ономоу. и дългомоу о(т)шѣствию о(т)поу-щеноу быти КЕ XII, 243а. Думается, что прежний вывод исследователя о возникновении этой флексии под влиянием генитивного окончания -аго [12, с. 142] вполне справедлив, но только с той оговоркой, что данная инновация действительно объясняется, как и указывает теперь А.А. Зализняк, не "орфографической гиперкоррекцией" (с. 224), а, скорее, живой тенденцией к фонетическому сближению флексией.

10. Обращаясь к формам РП ед.ч. муж. и ср. рода местоименного и адъективного склонений на -ога, объясняемым влиянием именного склонения⁸, мы не можем не заметить, что ограничение данного явления рамками ильменско-словенских говоров (с. 225) основывается только на весьма неопределенных современных диалектологических материалах (см. ниже), но не учитывает псковского происхождения по крайней мере двух текстов, демонстрирующих указанную флексию и тем самым свидетельствующих против ее локализации в ильменско-словенской зоне (если она действительно противопоставлялась в этом плане кривичской): Захариинского паремейника 1271 г. (пример *осмога* дни 231, впервые зафиксированный Н.М. Каринским [40]) и Ипатьевского списка летописи (*осмога* ЛИ ок. 1425, 73, *милога* 245об [31, с. 119]). Знаменательно, что формы *ягá*, *одногá* в начале XX в. употреблялись, по данным Н.М. Каринского, именно в псковских говорах "по берегу Чудского озера" [40]. Еще один пример с местоимением отмечен в Рязанской кормчей 1284 г.: о(т) *тога* часа и време́не 290а, однако он не является вполне показательным, так как может восходить к сербскому оригиналу (см. [41]). Как бы то ни было, очевидно, что единичные случаи -ога, отмеченные в старославянских (см. [39, с. 140]), псковских, новгородских, суздальских (ЛЛ 1377) памятниках, в псковских, белорусских и восточноболгарских [39, с. 140] говорах, едва ли могли все en bloc развиваться "не независимо от западного южнославянского" (с. 225). По нашему мнению, корректнее было бы предположить, что рассматриваемое явление – сохраняет ли оно деклинационный архаизм или в самом деле отражает инновационное влияние именного склонения на местоименное – скорее всего, выходило за пределы ильменско-сербско-словенских изоглосс и характеризовало, в большей или меньшей степени, значительную часть диалектов праславянского, впоследствии определившихся как южно- и восточнославянские (ср. [39, с. 140]).

Следует также сказать, что оценка окончания -ова, представленного во многих северо- и средневеликорусских (окающих) говорах (см. [42, карта 45]), как "наследника" флексии -ога (с. 225) является, на наш взгляд, чрезмерно прямолиней-

⁸Иную точку зрения, возводящую *тога*, *кога* к аблативу гипотетических праславянских местоимений **toгъ*, **koгъ*, отстаивал Г.А. Ильинский [39, с. 141, 161–163; 15, с. 448]. А.И. Соболевский также вычленил в *кого* основу *ког-* (ср. *ког-ди*), сопоставляя окончание -о с греч. -ος в *παντός, τινός* и лат. -us в *ejus, cujus* [24, с. 61].

ной. Если придерживаться традиционного объяснения, согласно которому [в] в этом окончании образовался для устранения зияния, появившегося после утраты [γ], обязанного своим возникновением ослаблению артикуляции [г] в положении между двумя лабиальными гласными (-[ого] > -[оуо] > -[оо] > -[ово], см. [19, с. 126; 43; 44]), то придется констатировать, что во флексии *-oga* – т.е. в позиции перед [а] – фонетическое условие для перехода [г] > [γ] не соблюдалось. Нелишним было бы вспомнить здесь и о том, что окончание *-va* наряду с более многочисленными формами на *-vo* встречается в кашубско-словинских говорах [39, с. 144], для которых, насколько известно, флексия *-(o)ga* не реконструируется. Более вероятным, в свете примеров типа *железа волоченова тонкова игольнова* (с. 225), является, как мы полагаем, позднейшее, не связанное с *-oga*, преобразование местоименных и адъективных форм на *-ovo* под воздействием именного склонения (ср. [45, с. 240]). При такой интерпретации *-oga* может быть квалифицирована как "тупиковая" линия восточнославянской языковой эволюции, не получившая широкого развития в древнерусский период и заглохшая в среднерусский.

11. Вызывает возражения трактовка А.А. Зализняком глагольных форм 3-го л. настоящего времени (с. 228). Прежде всего представляется не совсем правильным говорить об "утрате *-ть*" в формах типа *живе*: по-видимому, нулевое окончание и флексия *-ть* являются параллельными, праславянскими по происхождению образованиями, восходящими соответственно к индоевропейским "вторичному" (**-t*) и "первичному" (**-ti*) окончаниям [46, с. 83]⁹. Это давнее, но не потерявшее привлекательности построение кажется нам гораздо менее "произвольным" ("arbitraire"), нежели гипотеза А. Вайана о "редукции" **-eti*, **-iti* в **-et*, **-it* и последующем устранении **-t* в одних говорах и наращении на него *-ъ* в других [48]. Трудно безоговорочно согласиться и с тем, что "отсутствие *-ть* в двух числах и в обоих спряжениях ставит древние севернокривичские говоры в уникальное положение внутри восточнославянской зоны" (с. 228); уже в древнерусский период нулевая флексия наблюдается не только в новгородских памятниках, но и в текстах других территорий: *трѣбоуе* Изб 1076, 174, *вѣдае* (Юрьевское евангелие), *к, приходи, су, иму* (Добрилово евангелие), *прося, въсхытя* (Холмское евангелие) и мн. др. (см. [19, с. 249]). Конечно, большинство подобных примеров отмечено в церковно-книжных источниках и может передавать особенность протографа (ср. [19, с. 249; 49]). Однако не говоря уже о том, что само наличие южнославянского протографа в ряде случаев проблематично, следует иметь в виду, что для раннедревнерусского периода наука до самого последнего времени фактически не располагала светскими текстами ислонгородского происхождения – да и применительно к Новгороду о широкой употребительности форм с *-Ø* позволили судить только берестяные грамоты (см. [12, с. 143]; ср. также замечание Н.М. Каринского о том, что 3-е л. без *-ть* "очень редко встречается" в псковских памятниках [2, с. 192–193]). Между тем уже первый не фрагментированный берестяной документ, найденный на Украине, – грамота № 2 из Звенигорода Галицкого – показал, что презенс типа *вониде* бытовал и на юго-западе древнерусской территории [50], и тем самым подтвердил автохтонность форм на *-Ø* в галицких церковнославянских текстах. Общевосточнославянская распространенность подобных форм, лишь с течением времени вытесненных образованиями с флексией *-ть* (ср. материал поздних берестяных грамот, где "доля примеров с *-ть* несколько возрастает" [12, с. 143]), явствует и из современных диалектных данных, свидетельствующих о наличии 3-го л. на *-Ø* не только в северно- и среднерусских, но и в южнорусских [42, карты 80, 81],

⁹Проникновение в презенс "вторичного" окончания, свойственного т.н. историческим временам (ср. др.-инд. *ádāt* "дал", арх. лат. *fecid* "сделал"), вполне может быть сопоставлено с аналогичными процессами в 1-м л. ед.ч. (**-g* < **-ō-m*) и, возможно, в 3-м л. на **-tъ*, которое издавна и упорно, хотя и небесспорно, возводится к и.-е. "вторичному" медиальному окончанию **-to* (см. [46, с. 88; 47]).

украинских и юго-западных белорусских говорах (ср. [19, с. 249; 45, с. 186–187]). Картину, особенно близкую к древненовгородскому состоянию, демонстрируют южнорусские говоры, возводимые С.Л. Николаевым к племенному диалекту вятичей: здесь наблюдаются формы 3-го л. ед.ч. *стѣне, несѣ, хѣди, сидѣ* и 3-го л. мн.ч. *стѣну, хѣдѣ, сидѣ* [51]. Кажется весьма вероятным предположение С.Л. Николаева о том, что такое распределение "...может отражать сильно модифицированную архаичную систему" [51]. Таким образом, противопоставленность древнекривичского состояния современным восточнославянским данным естественна: берестяные грамоты, занимающие действительно уникальное место среди древнерусских памятников по степени лингвистической информативности, наиболее точно передают особенность того архаичного этапа в развитии восточнославянской (и общеславянской) глагольной системы, который, по всей очевидности, в большинстве говоров завершился раньше, чем на северо-западной периферии.

12. Фундаментальное значение для исторической морфологии и синтаксиса имеет проведенное А.А. Зализняком всестороннее исследование функционирования энклитик, заставляющее во многом по-новому смотреть на проблему порядка слов в древнерусском и праславянском. Применяя к древнерусскому языку – *mutatis mutandis* – правила постановки энклитик, сформулированные А. Вайаном [52] на материале старославянского языка, А.А. Зализняк представил поистине филигранный анализ сложных синтаксических структур.

Несогласие вызывает лишь параллельное рассмотрение энклитических и орфотонических форм дательного и винительного падежей ед.ч. личных местоимений (ДП *ми* — *мѣнѣ, ти* — *тобѣ, ны* — *намѣ, на* — *нама* и т.д., с одной стороны, и ВП *мѣ* — *мене, тѣ* — *тебе, ны* — *насъ, ва* — *ваю* и т.п. — с другой, см. с. 290). При таком изображении теряется представление о генетической и функциональной неравноценности указанных пар: если оппозиция энклитических и акцентно самостоятельных словоформ в дативе безусловно носит праславянский характер, то утверждение первоначально генитивных форм *мене, тебе* и т.д. в качестве аккузатива, несомненно, является позднейшей инновацией отдельных славянских языков, распространявшейся одновременно с процессом энклитизации исконно орфотонических форм *мѣ, тѣ* и т.п. В частности, для раннедревнерусского периода наличие ВП *мене, тебе* свидетельствуется крайне немногочисленными и не всегда надежными примерами. Естественно, что в древненовгородском диалекте, которому категория одушевленности в ед.ч. субстантивного склонения была чужда [38, с. 69]¹⁰, соотносящиеся с существительными формы В=Р местоимений чрезвычайно редки: в ранних берестяных грамотах, известных к настоящему времени (до № 753), аккузативы *мѣ, тѣ* (не говоря уже о возвратном элементе *ся*) встречаются 27 раз, тогда как *тебе* — ни разу, а *мене* — лишь трижды [53]. Впрочем, и в ранних памятниках новгородского происхождения (например, Успенском сборнике) формы ВП *мене* и *тебе* единичны, а большая часть словоупотреблений, фиксируемых словоуказателем как ВП, в действительности представляет собой обычный РП¹¹. Большинство бесспорных случаев В=Р наблюдается в текстах, восходящих к южнославянским протографам (см. УСб, 101г, 196а, 196в), причем во многих конструкциях появление ВП *мене* и *тебе* инициировано

¹⁰В этой связи заметим, что квалификация формы *Милослави* ГрБ № 196 как ВП (с. 333) кажется нам излишне категоричной: поскольку, как справедливо указал А.А. Зализняк, "угадать" значение стоявшего перед этим именем, но утраченного при обрезке бересты глагола «едва ли возможно (это может быть, например, "пожаловал", "простил", "освободил [от долга]" или, наоборот, "не простил", "не отпустил" и т.п.)» (с. 138), — данная субстантивная форма с таким же успехом могла бы быть и РП.

¹¹Так, например, в конструкциях: *послоушаи мене* УСб, 96г (аналогично — 97б, 97г, 121г, 122в, 220б, 231а, 253в, 254в), *стрѣѣте мене* 109а, *мене ослоуша ся* 222а (аналогично — 239а, bis), *ждеть мене* 138г, *мене въпрашаеши* 289в — представлен закономерный родительный при глаголах, регулярно управляющих генитивом, а в сочетании: *мене не послоушаеши* 137б — генитивное управление обусловлено не только самим глаголом, но и отрицанием (перечень мнимых примеров ВП *тебе* см. [54]).

либо влиянием согласующихся с ними субстантивных объектов, либо их начальным положением в синтагме, невозможным для полуэнклитик *мя, тя* (ср.: и тебе единого *бѣ и гѣ възлюбити* УСб, 27в). Абсолютное преобладание исконных форм ВП подтверждается и при обращении к "Повести временных лет" (по Лаврентьевскому списку), где, согласно данным Э. Кленин, на долю *мене* и *тебе* приходится гср. лишь 9 и 10% от общего числа аккузативных форм соответствующих местоимений [55, с. 72]. Относительно ограничено использование *В=Р* в дв. и мн.ч.: так, в ранних берестяных грамотах отмечены только формы старого ВП *ны* (№ 400) и *вы* (№ 503), между тем как *насъ, вась* регистрируются лишь с середины XIV в. (по три примера каждая). Сходную картину демонстрируют письменные источники и для анафорического местоимения *и*: форма ВП *его* вначале фигурирует главным образом в текстах южнославянского происхождения, а *В=Р* женского рода, поставленный А.А. Зализняком в параллель к исконному *ю*, вообще наблюдается только с XIV в., причем – что симптоматично – в церковнославянской огласовке (*наказавъ ея, бивъ ея* [19, с. 201]).

Следовательно, применительно к аккузативу у нас нет оснований говорить о равноправной и древней оглозиции энклитических и орфотонических форм, подобной той, которая изначально наличествовала в дативе. Между *мя* и *мене, тя* и *тебе, и* и *его* существуют отношения преемственности, связанные с тем, что формы второго типа являются историческими наследниками форм первого типа, возникшими в результате развития категории одушевленности. По мере отмирания исконных форм ВП и закрепления *В=Р* в роли единственного представителя аккузативной граммемы у одушевленных существительных использование старого винительного у личных, указательных и относительных местоимений вступало во все большее противоречие со структурой именных падежных противопоставлений, вследствие чего уже в XIII в. деловые тексты отражают, по словам Э. Кленин, "реальное изменение норм" [55, с. 59], предполагающее постепенный переход от преимущественного употребления исконных форм к преобладанию *В=Р*.

*

13. Итак, ряд уже достаточно прочно вошедших в научный обиход положений, касающихся характеристики фонетико-фонологической системы и грамматического строя древненовгородского диалекта, нуждается, на наш взгляд, в корректировке. В первую очередь это относится к противопоставлению севернокривичских (западных) и ильменско-словенских (восточных) элементов. Ввиду практически полного отсутствия в нашем распоряжении ранних однозначно "восточных" берестяных грамот [56] и в условиях значительного преобладания в древненовгородском койне черт предположительно западного происхождения выводы о наличии тех или иных особенностей в ильменско-словенских говорах вынужденно базируются на данных современной лингвogeографии. Однако хорошо известно, что именно территория Новгородской земли (в отличие от Псковской), т.е., собственно говоря, ареал древних ильменских словен и их позднейшей колонизации, в эпоху Московской Руси подвергалась "этническим чисткам", следствием чего явилось, во-первых, опустошение многих земель, во-вторых, смешение с инодиалектным населением, в-третьих, забвение исконных диалектных черт. Напротив, псковские говоры, составляющие, если воспользоваться словами О.Н. Трубачева, периферию "сугубой периферии" [57], развивались в относительно более благоприятных политических условиях и, естественно, лучше сохранили языковую архаику. Таким образом, значение современных новгородских, архангельских, вологодских и т.д. говоров, с одной стороны, и говоров псковских и гдовских — с другой, для исторической диалектологии абсолютно неравноценно.

Далее. Противопоставление древненовгородского диалекта всем прочим восточнославянским диалектам также основывается на их явно неравноправном положении с

точки зрения освещенности письменными памятниками. Ввиду отсутствия не только берестяных грамот, но и церковно-книжных текстов многие территории Древней Руси в языковом отношении остаются для нас *terra incognita*. Однако и при наличии книг и даже пергаменных грамот наши представления о ряде древневосточнославянских диалектов, несомненно, являются превратными; утверждать это столь определенно мы можем именно благодаря обнаружению и адекватной интерпретации в трудах В.Л. Янина и А.А. Зализняка новгородских берестяных грамот, которые, при сравнении их с прочими новгородскими текстами, недвусмысленно показали, "насколько успешно могут традиционные письменные источники маскировать реальную ситуацию в живой речи" [58]. Следовательно, на основе южнорусских или северо-восточных евангелий, летописей, княжеских грамот весьма трудно делать выводы, которые по своей надежности могли бы соперничать с материалом берестяных грамот. При отсутствии для большинства территорий за пределами Новгорода и Пскова письменных источников, в количественном и информативном отношении равноценных берестяным грамотам, всякие попытки экстраполяции современных диалектных явлений на древнейший уровень остаются крайне рискованными – а тем самым и объединение либо разграничение древнерусских диалектов по целому ряду признаков (см., например, с. 212, 216, 220, 228, 229, 232) оказывается весьма шатким и труднодоказуемым¹². Судя по всему, единственная реально доступная для реконструкции оппозиция – это соотношение древненовгородского диалекта и "стандартного древнерусского языка", безусловно испытывавшего сильнейшее влияние церковнославянского и в силу этого лишь очень приблизительно отражающего живую народно-разговорную речь Киева, Суздаля, Смоленска или Твери.

Наконец, сопоставления с другими славянскими языками, неизменно присутствующие при описании всех специфических древненовгородских особенностей, не дают оснований для однозначных выводов. Не говоря уже о таких чертах, которые вообще не находят параллелей нигде в Славии (отсутствие второй палатализации, *вѣх-*, [мл'] > [н'], номинатив на *-e*), – т.е. об архаических и инновационных явлениях, в первую очередь определяющих своеобразный облик древненовгородского диалекта, – приходится констатировать, что и другие особенности, как будто имеющие аналоги в инославянских языках, оказываются слишком "самостоятельными", чтобы мы могли согласиться с выведением их из "севернославянского" прототипа (см. в первой статье о рефлексах **tj*, **dj*). Знаменательно, что в некоторых случаях сам А.А. Зализняк, отмечая параллелизм тех или иных инноваций, например, в ильменско-словенской и сербско-словенской зонах, оставляет открытым вопрос о наличии между ними генетической связи (с. 218, 225).

14. Многочисленные особенности, которые в совокупности своей действительно отличают древненовгородский диалект и от стандартного древнерусского, и от церковнославянского, и от всех остальных славянских языков, с точки зрения их генезиса могут быть, как мы полагаем, разделены на четыре группы.

Первую группу составляют *п р а с л а в я н с к и е а р х а и з м ы*, т.е. явления, общие для всех славянских диалектов и отражающие либо исконное состояние, либо общеславянское изменение; к их числу относятся: неразвитость слогового сингармонизма и, как следствие, неосуществление второй и третьей (для **g* и **x*) палатализаций; [г] взрывное; реализация (ѣ) как [ä]; окончание ИП ед.ч. муж. рода **o*-склонения *-o* < **-os* (в топонимах); ИП **jo-masculina* на *-e*; формы адъективного склонения типа РП *малаго*, *третьѣѣ*, ДП *Волотѣковѣи*; нулевая флексия в 3-м л. наст. вр. глаголов.

¹²Впрочем, и показания берестяных грамот отнюдь не во всех случаях достаточно информативны. Весьма красноречиво в данном аспекте признание А.А. Зализняка относительно реконструкции "восточной" и "западной" систем в распределении рефлексов **o*: "Памятники бытового письма не дают нам возможности об этом судить вообще..." (с. 204).

Во вторую группу входят праславянские диалектные инновации, общие для ряда диалектов эпохи распада праязыка: первое полногласие на его раннем этапе – с неопределенным гласным после шлавного (**torət*); второе полногласие в виде **tyrət*; генитив типа *moга*; Д–МП местоимений *тобѣ, собѣ*¹³.

Третью группу образуют восточнославянские полидиалектные инновации: общекривичское цоканье (см. [19, с. 34]); возможно, общее для ряда диалектов влияние мягкой разновидности на твердую в местоименном склонении (*тихъ*) и в повелительном наклонении (*идите*).

Четвертая группа включает общие псковско-новгородские инновации (чаще всего генетически псковские), иногда и отчасти совпадающие с аналогичными изменениями в других языках и диалектах, но, по-видимому, независимые от них, сходные с ними лишь типологически: прекращение действия фонетического эффекта первой палатализации для всех вновь образующихся форм, содержащих заднеязычные перед известными гласными переднего ряда; изменение **dl*, **tl* > [гл], [кл]; упрощение **z'd'z'* (из **zgj*, **zg'*, **zdf*) в [ж'д'] и, может быть, также **š't's'* (из **skj*, **sk'*, **stj*) в [ш'т']; переход [вл'] > [л'], [мл'] > [н']; изменение [ѣ] > [е]; номинатив **o*-masculina на -е; РП ед.ч. и И–ВП мн.ч. **ā*-склонения на -ѣ; ВП и, позднее, ИП мн.ч. **o*-masculina на -ѣ; И–ВП дв.ч. ср. рода типа *дѣва лѣта*; 1-е л. мн.ч. наст. вр. на -ме; ИП причастий (деепричастия) от глаголов I–II классов на -я (*идя*); в отдельных говорах – изменение **torət* в *trot* и **tyrət* – в *tryt*.

Отдельную группу составляют чисто псковские диалектизмы, т.е. явления, не распространившиеся на древненовгородский диалект в целом: смешение шипящих и свистящих; упрощение **d'z'* (из **dj*) и **t's'* (из **tj*) в [д'] и [т'] с последующим изменением в мягкие заднеязычные и позиционным отвердением; заударное яканье (*дворя, Гюргямъ*) и нек. др. (см. [36, с. 144–155; 2, с. 150–198]).

Этот обзор вынуждает поставить под сомнение тезис, согласно которому "... в определенный момент развития праславянского языка... выделяется северная (точнее, северо-западная) группа древних диалектов, включающая польский (диалект? язык? – *К.В.*), севернолехитские, лужицкие и севернокривичский" (с. 232). Как уже отмечалось, идея западнославянско-кривичского родства (и, следовательно, – по принципу *reductio ad...* – гетерогенности древнерусского языка) была выдвинута еще А.И. Соболевским, который в 1912 г. писал: "Если мы пойдем в область гипотез, то найдем в себе смелость предположить, что доисторический кривичский говор русского языка... получил свою главную особенность (цоканье. – *К.В.*) еще в то время, когда жил рядом с предком мазурского говора. Иными словами, мы можем допустить, что предки кривичей в глубине веков жили – вероятно, в бассейне Вислы – рядом с предками мазуров и что затем, волею или неволею отделившись от мазуров, пробившись через литовские поселения и сначала заняли местности между литовцами виленскими и литовцами смоленскими, а потом продвинулись далее на север, в области западнофинских племен..." [5, с. 46–47]. Следует, однако, заметить, что тут же Соболевский обратил внимание и на кривичско-сербские сходства [5, с. 48], которые, к сожалению (как мы имели возможность убедиться на примере рефлексов **tj* и **vj* типа *Радослаликъ*), нередко игнорируются в новгородоведческих изысканиях последних лет, абсолютизирующих лишь действительные и мнимые черты лехитско-кривичского сходства. Между тем особенности, объединяющие древние новгородско-псковские говоры как с западно-, так и с южнославянскими языками (мы не говорим о некоторых сходных тенденциях, имеющих разные результаты и, по-видимому, лишь типологически близких), определяются, вероятнее всего, не генетическим единством,

¹³Если "... ничто, кроме традиционного постулата о восточнославянском единстве, не мешает допустить гораздо более раннее возникновение словоформ Д.М. *тебѣ, себѣ* в ильменско-словенской зоне" (с. 228), то и в пользу этого допущения говорит только постулат о восточнославянской гетерогенности: "... реальных данных о состоянии северо-восточных говоров в XI–XIII вв. просто нет" (с. 228).

а иными факторами: а) независимым сохранением праславянских архаизмов [59] (**kvě*, **gvě* у северных кривичей и у западных славян при наличии у последних второй палатализации в прочих позициях; реализация ⟨ѣ⟩ как [ā]; архаичное склонение местоименных прилагательных в древненовгородском и старославянском) и праславянских диалектизмов (*тога*; *тобѣ*) и б) независимым развитием достаточно "ожиданных", нередко системно обусловленных инноваций (ср. [kl], [gl] в словенском, польском, словацком; [ж'д'] и [ш'т'] из **ž'd'ž'* и **š't'š'* в старославянском; переход мягких дентальных в заднеязычные в сербском и македонском; *trot* < **tort* в западнославянских языках; [вл'] > [л'] в сербском; И-ВП **ā*-склонения на -*ě* в словенско-сербской зоне; императив на -*ime/-ite* в ряде южно- и западнославянских языков; -*а* в ИП причастий типа ст.-слав. *неса* [14, с. 233]). Вполне естественно, что общеславянские архаизмы и древнейшие диалектные инновации особенно устойчиво сохранялись на крайней периферии славянского мира, на территории Псковской и Новгородской земель. В то же время и ряд собственно севернокривичских новообразований представляет собой лишь этап в эволюции праславянских же архаизмов (либо праславянских диалектизмов), которые, очевидно, первоначально были унаследованы всеми восточнославянскими диалектами, но затем подверглись различным изменениям (разные способы упрощения **ž'd'ž'* и **š't'š'*; появление на месте **t'š'* и **d'ž'* (из **tj*, **dj*) либо мягких зубных, либо шипящих; переход **dl*, **tl* соответственно в [гл], [кл] и в [л]; различная эволюция полногласных сочетаний с призвуксом после плавного; замена номинативной флексии муж. рода *-*o* окончаниями -*e* либо -*ъ* [при сохранении в последнем случае гипокористик на -*o*]). Тем самым данные древних псковско-новгородских говоров не опровергают, а скорее подтверждают положение о генетическом единстве древнерусских диалектов, различающихся не гетерогенными особенностями, а сохранением либо утратой генетически праславянских архаизмов и инноваций и наличием либо отсутствием позднейших новообразований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Л.Л. О случае сохранения общеславянской группы -*dl-* в одном из старых наречий русского языка // РФВ. 1907. № 4. С. 263–264.
2. Каринский Н.М. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
3. Соболевский А.И. Важная особенность старого псковского говора // РФВ. 1909. № 3–4.
4. Шахматов А.А. К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры // РФВ. 1913. № 1.
5. Соболевский А.И. Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. II. Варшава, 1912.
6. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
7. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I. М., 1988. С. 24–68.
8. Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 153.
9. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon; P., 1950. P. 89.
10. Колесов В.В. К характеристике исходной палатальности согласных в древнепсковском говоре // Псковские говоры. III. Псков, 1973. С. 8.
11. Ondrus P. Zmena *tl, dl* na *kl, gl* v stredoslovenských nárečiach // Jazykovedný časopis. 1962. R. XIII, č. 1. S. 70–75.
12. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
13. Селищев А.М. Старославянский язык. Ч. I. Введение. Фонетика. М., 1951.
14. Diels P. Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
15. Ильинский Г.А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.
16. Шахматов А.А. К истории звуков русского языка. О полногласии и некоторых других явлениях. СПб., 1903.
17. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. С. 158–159.
18. Потебня А.А. К истории звуков русского языка. Воронеж, 1876.
19. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
20. Диалектологический атлас русского языка: (Центр Европейской части СССР). Вып. I. Фонетика. М., 1986. Карта 92.
21. Піаторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988.
22. Еселевич И.Э., Марков В.М. История редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1976. С. 53.

23. Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
24. Соболевский А.И. Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. I. Варшава, 1910.
25. Зализняк А.А., Янин В.Л. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // R Ling. 1993. V. 16. С. 196.
26. Зализняк А.А. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа *Tьrt в древненовгородском диалекте // Балто-славянские исследования. М., 1994.
27. Галинская Е.А. О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г.А. Хабургаева. М., 1993.
28. Крысько В.Б. Общеславянские и древненовгородские формы Nom. sg. masc. *o-склонения // R Ling. 1993. № 2.
29. Крысько В.Б. Новые материалы к истории древненовгородского номинатива на -e // ВЯ. 1993. № 6.
30. Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 69.
31. Шахматов А.А. Несколько заметок об языке псковских памятников XIV–XV в. // ЖМНП. 1909. Июль.
32. Трусов Ю. Образцы сомерского говора (в Гдовском уезде С.-Петерб. губ.): Рукопись Архива Русского географического общества, разряд XXXV, оп. 1. № 15.
33. Топоров В.Н. Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir-) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 27.
34. Тушков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен // Зап. Отд-ния рус. и слав. археологии Имп. Рус. археол. о-ва. Т. VI. СПб., 1903.
35. Wójcisz M. Новгородская берестяная грамота о передаче кун // Lingua Posnaniensis. 1982. XXV, S. 44.
36. Соболевский А.И. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
37. Николаев С.Л., Хелимский Е.А. Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско-финских языках: -o и -и в рефлексах имен мужского рода // Uralŭ-Indogermanica. М., 1990. Ч. 1. С. 41–43.
38. Крысько В.Б. Категория одушевленности в древненовгородском диалекте [I] // Славяноведение. 1993. № 3.
39. Ильинский Г.А. Сложные местоимения: Окончания родительного пад. ед.ч., м. и ср.р. неличных местоимений в славянских языках. М., 1905.
40. Каринский Н.М. Паремейник 1271 года как источник для истории псковского письма и языка // Сб. ОРЯС. 1928. Т. 101, № 3. С. 236.
41. Блохина Э.Д. Палеографическое и фонетическое описание Рязанской кормчей 1284 г.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1970. С. 26.
42. Диалектологический атлас русского языка: (Центр Европейской части СССР). Вып. II. Морфология. М., 1989.
43. Толкачев А.И. Об изменении -ого > -ово в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода членных прилагательных и местоимений русского языка // Материалы и исследования по истории русского языка. М., 1960.
44. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. М., 1990. С. 205–206.
45. Селищев А.М. Избранные труды. М., 1968.
46. Соболевский А.И. Исследования в области русской грамматики. Варшава, 1881.
47. Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевропейские истоки. М., 1981. С. 57, 90–92.
48. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. III. Le verbe. P., 1966. P. 10.
49. Страхон А.Б. Филологические наблюдения над берестяными грамотами: I–IV // Palaeoslavica. 1993. V. 1. С. 201.
50. Нимчук В.В. Звенигородские (галицкие) берестяные грамоты // Исторические изменения в языковой системе как результат функционирования единиц языка. Калининград, 1992. С. 7.
51. Николаев С.Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994. № 3. С. 41.
52. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 410–412.
53. Крысько В.Б. Категория одушевленности в древненовгородском диалекте [II] // Славяноведение. 1994. № 1. С. 36.
54. Hock W. Das Nominalsystem im Uspenskij Shornik. München, 1986. S. 160.
55. Klenin E. Animacy in Russian: A new interpretation. Columbus (Ohio), 1983.
56. Зализняк А.А. Древненовгородское койне // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988. С. 71–72.
57. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М., 1991. С. 251.
58. Зализняк А.А. Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и vice versa // R Ling. 1991. № 3. С. 240.
59. Толстой Н.И., Толстая С.М., Д.К. Зеленин-диалектолог // Проблемы славянской этнографии. Л., 1979. С. 82.